



Памяти
Владимира Юрьевича Гришина

В. А. ФАТЕЕВ

Публицист с душой метафизика и мистика

В статье «Две философии» (1897) Розанов писал: «Мы, русские, имеем две формы выражения философских интересов: официальную, по службе, т. е. должностную. Это — “философия” наших университетских кафедр. И мы имеем как бы философское сектантство: темные, бродящие философские искания... Одна, заимствовав форму старости, не рождает нового содержания. Напротив, вторая ветвь нашей “философии”, не имея научного декорума и даже часто плана, в высшей степени полна “жизненного пороха”, этой взрывчатости, самогорения, порыва мысли, и всегда возле действительности, около *naturam rerum*». Статья посвящена далекой от официальной философии, рано оборвавшейся творческой деятельности малоизвестного, но высоко ценимого Розановым — больше по «залогам души», нежели по реальным свершениям, — Ф. Э. Шперка, его младшего друга. Однако характеристика неофициальной ветви русской философии как нельзя лучше подходит для сочинений самого Розанова, не имеющих «научного декорума и даже часто плана», но полных «жизненного пороха».

И действительно, даже среди яркого разнообразия русской религиозно-философской мысли конца XIX — начала XX веков произведения Розанова заметно выделяются своей «взрывчатостью», не ослабевающей с годами актуальностью и оригинальностью. Розанов чрезвычайно самобытен, изменчив, парадоксален и почти бесформен. Его острая, живо пульсирующая, антиномичная мысль, проявившаяся в бесконечном многоголосии книг, журнальных статей, газетных фельетонов, выступлений на религиозно-философских собраниях, частных писем, с трудом поддается систематизации — не только из-за хаотичности розановского наследия, но и из-за того, что ее невозможно выразить в категориях логики без утраты очень существенного: авторской инто-

нации, ощущения индивидуальности. У Розанова, в отличие от большинства пишущих, нет расстояния между душевным переживанием и словесным воплощением. «Сердечная мысль» Розанова неотделима от спонтанной, часто почти художественной формы выражения.

Розанов известен сегодня главным образом как уникальный в XX веке проповедник культа рождения и пола; как религиозный реформатор, выступивший за обновление церковной действительности и религиозное оправдание семьи; как бунтарь, восставший против византийско-монашеского толкования Евангелия, а затем и против самого христианства, во имя Живой Жизни; как мыслитель, не побоявшийся бросить вызов даже Христу. Никто с такой смелостью и настойчивостью не разоблачал лицемерную, нигилистическую сущность русского интеллигентского либерализма, заведомо обрекая себя на презрение «прогрессивной общественности». Мало того, Розанов демонстративно выступал как имморалист, нарушающий общепринятые этические нормы и шокирующий читателя предельной обнаженностью своего внутреннего мира. Наконец, как разрушитель традиционных литературных форм, «завершитель» литературы, он воспринимается сегодня и как предтеча модернизма. Этот мистик-иррационалист, анархист по складу своей духовной личности, отрицавший европейскую цивилизацию и мечтавший о возрождении радостного мира райской невинности, действительно был прежде всего бунтарем, боровшимся со всем шаблонным, отвлеченным, холодным, самодовольным.

Но признание Розанова связано не только и не столько с его смелыми отрицаниями, сколько с тем, что ему удалось приоткрыть завесу над самыми тайными и темными уголками природного человеческого бытия. Розанов прежде всего — метафизик и мистик, которого интересует по преимуществу «незаметное, бесцветное, безвидное, без-документальное», то, что нельзя пощупать или измерить. И пристальное внимание Розанова к «миру неясного и нерешенного» позволило ему найти новую точку зрения на самые обыденные вещи, обрести видение, в котором вся жизнь, вся история цивилизации предстали в совершенно необычном свете. Розанов выступил как острейший критик современной цивилизации с ее чрезмерным рационализмом, отрывом от природы и утратой религиозного начала.

Говорить о философии Розанова как о стройном и последовательном учении, конечно, не приходится, но при всей бессистемности и разнородности его философских высказываний, все же можно выделить опорные точки его мирозерцания в наибо-

лее характерный для него период. В розановской философии, в основе которой — Бог и пол, мир воспринимается как некая тайна, как Космос — созданное Богом единое целое, обладающее душой и находящееся в вечном движении. Одушевленность мира Богом связана для Розанова с полом, который космичен — сочтения полов прослеживаются по всему мирозданию. Касание «миров иных», по мнению Розанова, проходит именно через пол. Истина существует, но она сокрыта от нас, иррациональна, и возможно лишь постепенное приближение к ней через интуитивное постижение. Розанов черпает вдохновение для своих религиозно-философских интуиций из страстного желания раскрыть эту тайну мира. Постоянно стремясь к тому, чтобы его мысль была онтологична миру, он не выводил онтологизма из своих гносеологических рассуждений, — наоборот, его теория познания опирается на бытие. Поэтому у Розанова высшие начала духа не отрываются от тварной природы, от плоти мира. Он не раз подчеркивал, что хотел «не дать хвалу плоти», а «ввести душу в плоть». Розанов утверждал пол именно как соединение плоти и духа: «Расторжение духа и плоти есть болезнь... Все живое хочет жить, т. е. удерживает дух и плоть в соединении». Пол для Розанова является воплощением природного начала, неотрывно связанного с религией: «Любить природу — значит любить Бога», «Образы Божии — вот что такое природа».

Рождение младенца с душой Розанов воспринимает как религиозное чудо — в этом акте, являющемся проявлением природного естества, характерном и для всего окружающего мира, созданного по Божьему замыслу, он видит проявление диалектической цельности бытия. Бог и пол у Розанова неразрывны. Утверждая святость семьи, Розанов отстаивает брак как реальное, а не формальное таинство, с признанием лежащего в его основе пола. Идеалу брака и семьи Розанов противопоставляет идеал монашеского аскетизма и как крайность той же тенденции — скопчество. В современном мире, считает Розанов, гармоническое единство плоти и духа, Бога и мира нарушено, прежде всего из-за позитивистски-пренебрежительного отношения к полу как природному началу. В результате семья разваливается, а пол становится воплощением скверны, греха, разврата. Но зарождение жизни, освященное Богом (младенец с душой), настаивает Розанов, не может быть греховным, порочным: «Нет собственно грязных предметов, а есть способ грязного воззрения на них...» На этом утверждении зиждется вся «философия пола» Розанова. По его мнению, разврат, проституция, убийство «незаконнорожденных» детей являются как раз следствием «грязного» взгляда

на пол, обездушивания пола из-за расторжения его связи с Богом. Раскрыть религиозную сущность пола, освятить рождение, считал Розанов, — это значит очистить от скверны основы жизни, «согреть» лишенный души мир.

Вполне естественно, что культ семьи, плодородия и деторождения приводит Розанова к увлечению древними религиями жизнетворчества — Ассирии, Вавилона, Древнего Египта и, в первую очередь, ветхозаветного Израиля. Европейская цивилизация, по мнению Розанова, загнивает — он повторяет это общеизвестное утверждение славянофильства, но для него деградация связана прежде всего с упадком семьи, чисто физиологическим восприятием пола, разделением духа и плоти. К тому же он, вопреки славянофилам, включает в европейскую цивилизацию и Россию.

Религиозный натурализм Розанова вытекает из его опоры на органическое начало, из отказа от рационалистического механицизма, как и у всех мыслителей славянофильской ориентации. Но если у Данилевского и Леонтьева это привело к распространению биологических принципов на развитие общества, то у Розанова биологизм приобретает всеобъемлющий характер своеобразной реставрации архаического, почти первобытного религиозного натурализма. Проследивая таинственное взаимодействие духа и плоти, Розанов делает ряд интересных открытий в неизученных прежде областях, в частности, раскрывает важную роль в истории духовной культуры так называемых «людей лунного света». Но в то же время, по мере его погружения в эту иррациональную область, темная стихия пола незаметно вытесняет духовное начало и виталистический психологизм Розанова сужается до поэтизации собственно сексуальности, до культа «фаллоса». Именно тогда в его философии особенно ощутимо проявляются те демонические черты, о которых подробно и убедительно, хотя и не без аффектации, писал Волжский. Однако взятые в целом, а не только в крайностях полемического отрицания, его сочинения не столь уж «демоничны» — в живой конкретности его искренних, трагических вопрошаний, несомненно, содержится мощный творческий, положительный заряд.

В своей хаотической, личностно-интимной, подлинно экзистенциальной «натурфилософии», где стержнем является метафизика пола, а человек и природа соотносятся как микрокосм и Космос, Розанов с огромной силой выразил неизбывную боль разделения плоти и духа в современном мире как объективную драму человеческого существования.

Метафизические искания в сфере пола не могли не привести Розанова к конфликту с христианством. На первых порах, придя к выводу о губительности для жизни пренебрежительного отношения к браку, семье, полу, Розанов пытался, вместе с Мережковским, проводить идею о необходимости существования в христианстве, наряду с религией страдания, религией Голгофы, — и жизнеутверждающей религии Вифлеема, напоминал о «теплой» народной вере с присущими ей языческими чертами, отстаивал плодотворность сочетания аскетического христианства с мирскими, прежде всего семейными радостями. В 1901 году, например, он участвовал в дискуссии с М. О. Меншиковым об эллинизме на страницах «Нового времени», доказывая, что в греческой культуре преобладают благородные черты. Однако, встретив ожесточенное сопротивление своему расширительному толкованию евангельских истин, Розанов постепенно укрепился в мысли, что христианский аскетизм несовместим ни с какими формами жизнеутверждения и, утратив веру в возможности «светлого» христианства Достоевского («розового» в скептической трактовке Леонтьева), охватывающего семейный быт, Розанов, у которого сложилась детально разработанная концепция христианства как аскетической религии, враждебной жизни, как религии смерти, отверг учение Бога-Слова, противопоставив ему опоэтизированный древний языческий и ветхозаветный мир, где пол и бог были неразрывны. Именно контрастное сопоставление Ветхого и Нового Заветов, язычества и христианства и принесло Розанову известность в период Религиозно-философских собраний 1901—1903 гг. «Душа человека есть по природе своей язычница», — дерзко утверждал он, опровергая известное высказывание христианского апологета Тертуллиана. Розанов демонстрировал поразительную остроту ума в нахождении все новых и новых аргументов в защиту своих антихристианских тезисов. Критика Розановым христианства, по оценке исследователей, была очень сильной, убедительной, как ни у кого, прежде всего из-за искренности его личных разочарований и из-за того, что вместо обычных рассудочных доводов атеизма он прибег к глубочайшим религиозно-философским аргументам, утверждая единство мира и Бога, плоти и духа.

В своей критике Розанов чутко улавливает реальные недостатки христианского «номинализма», и если бы он знал меру в своих «иеремиадах», то с ним часто можно было бы согласиться. Но Розанов — человек крайностей, доводящий каждую иссле-

дуюмую проблему до логического конца (тут проявляется своеобразный рационализм метафизики Розанова). Предельная заостренность им «больных вопросов», выражение их в ярких, контрастных образах придает особую убедительность его доводам, оказывает буквально завораживающее действие. Сами метафизические антихристианские постулаты Розанова, в воззрениях которого душевное слишком явно преобладает над духовным, не так уж трудно опровергнуть. Розановым совершенно игнорируется идея Воскресения, как и тема божественного преображения, «обожения» плоти, освящаемой им во всей ее тварной греховности. Но его особая сила — в конкретно-чувственной форме выражения, в интенсивности авторских переживаний, которые невольно передаются читателю.

Еще одна важнейшая особенность Розанова заключается в том, что он явно не до конца изжил в себе любовь к христианству и Церкви: до последних дней он мучительно решал больной вопрос об отношении христианства к миру, так и не отойдя окончательно от «церковных стен». «Вся моя жизнь прошла на тему о христианстве», — писал он. Религиозное бунтарство причудливо сочеталось у Розанова с политическим консерватизмом, борьба против косности и омертвения — с любовью к традиционным формам русской жизни и церковному укладу. Розанов многими чертами был укоренен в русской действительности с ее идеалом соборности, в онтологизме отечественной философской традиции — в его творчестве отчетливо прослеживается, несмотря на все мировоззренческие разногласия, отступления и демонстративные отречения, преемственность по отношению к славянофильству или, точнее, к «почвенничеству», а также менее выраженная, внутренняя связь с русским космизмом и софиологией. Розанов, сам будучи носителем мощных разрушительных идей, тем не менее постоянно выступал под знаком борьбы против нигилистических тенденций жизни, и даже «христорчество» было мотивировано им как стремление спасти человека и природу от рационалистического по своей сути, «обескровливающего» омертвляющего жизнь спиритуализма, культа небытия, «акосмизма», как желание восстановить органическую связь с «мирами иными», с Богом. Очень важной особенностью мировосприятия Розанова является то, что он остро чувствует ноуменальное, религиозное начало всех вещей, а свое переживание Бога передает как не покидающее его живое ощущение, почти экстатическое состояние непосредственного, личного общения. Отношение Розанова к христианству и Христу было сложным, противоречивым, как, впрочем, и все в его творчестве и жизни.

Розанов пережил несколько идейных поворотов, и без учета различия его взглядов в тот или иной период невозможно дать объективную картину его мировоззрения, тем более, что эти изменения не раз носили самый радикальный характер — как, например, его быстрый переход от «савонароловского» ультраконсерватизма начала 1890-х годов к увлечению язычеством и иудаизмом в конце десятилетия, или неожиданный, после нескольких лет возврата к православию и Церкви, новый виток антихристианских настроений под влиянием революции в «Апокалипсисе нашего времени». Однако нередко Розанов высказывал взаимоисключающие вещи и чуть ли не одновременно. Кроме того, изменения во взглядах Розанова настолько непостижимы, алогичны, что их почти невозможно предвидеть и тем более все-сторонне объяснить, осудить или оправдать. Казалось бы, правы те, кто утверждает, что впечатлительный, безвольный, «женственный» Розанов очень подвержен воздействию обстоятельств. Но никак не скажешь, что в его поступках или идеях преобладают соображения целесообразности или выгоды — в них больше безрассудства, чем логики, вызова, чем боязни, упрямства, чем соглашательства. При внешней податливости обстоятельствам, он «внутренне несклоняем» и не раз демонстрировал смелость, идя поперек общего движения, выступая против всесильного общественного мнения. Не слишком симпатизировавший Розанову Буренин писал в 1903 году, что Розанов «не боится думать по-своему». Розанов заставлял принимать его со всеми его парадоксальными гипотезами, изменами самому себе, «арлекинадами» (выражение В. А. Тернавцева) и недостатками.

Вопиющие противоречия, совмещение несовместимого сопровождали Розанова всю жизнь. Он поражал окружающих и читателей отсутствием в его поведении и творчестве четкой мировоззренческой позиции, нравственного стержня, последовательности. Например, примкнув в конце 1890-х годов к представителям «нового религиозного сознания» и начав сотрудничать вместе с «декадентами» в западническом, эстетском «Мире искусства» А. Н. Бенуа и С. П. Дягилева, он одновременно стал и членом редакции газеты А. С. Суворина «Новое время», видевшей свою главную задачу в отстаивании русских национальных интересов и третировавшей тех же «богоискателей-декадентов» как выразителей пагубного нигилистического индивидуализма.

Конечно, не последнюю роль здесь играла материальная сторона — ведь только работа у Суворина позволила Розанову, на-

конец, обрести достаток после долгих лет тягостной нужды и поденщины. Но, вопреки бытующему мнению, Розанов оставался сотрудником газеты до ее закрытия в 1917 году не только из-за денег — не говоря уже о том, что национальная направленность «Нового времени» была ему не чужда, главное: благодаря Суворину он обрел искомую творческую свободу — возможность писать в популярной, расходящейся по всей России газете практически на любую тему. Пренебрежительное и даже часто брезгливое отношение либеральной интеллигенции к «чего изволите», как они называли «Новое время» за «верноподданничество» и беспринципное потакание вкусам обывателя, конечно, сказывалось на отношении к Розанову и его творчеству, да и сам он относился к большинству своих коллег по редакции весьма скептически. Но именно на страницах этой весьма консервативной, одиозной в глазах интеллигенции газеты он печатал свои статьи на темы связи религии и пола, церковного и школьного формализма, вел полемику по поводу церковного законодательства о браке и «незаконнорожденных» детях, пропагандировал идеи Религиозно-философских собраний, писал об интересовавших его мыслителях и многое другое из того, что противоречило основному курсу редакции, тон в которой задавали Буренин и Меньшиков, едва терпевшие Розанова. Имея в виду опору Суворина в газете на ярких писателей, независимо от того, о чем они пишут, и особенно участие в «Новом времени» Розанова (а прежде, напомним, и Чехова), теперь, спустя десятилетия, можно скорее согласиться с принадлежавшей Меньшикову оценкой этой интересной, разнообразной газеты как «парламента мнений», чем со слишком тенденциозным ее определением либералами как «чего изволите».

Розанов стоял в «Новом времени» особняком (об этом убедительно писал, в частности, Н. Я. Абрамович); впрочем, он всегда и везде оставался самим собой — чуждым большинству, только терпимым из-за талантливости, непредсказуемым чудаком. Так было в 1890-е годы в «Русском вестнике», где сотрудники выразили решительное недовольство его подрывающими авторитет журнала неистовыми обличениями Толстого за неверие и обращением к живому классику на «ты». Так было даже в благожелательно к нему настроенном журнале религиозно-свободомыслящих литераторов «Новый путь», где Розанову была выделена особая рубрика «В своем углу» для высказывания своих «крамольных» мыслей, которые Гиппиус, по ее признанию, не особенно церемонясь, правила и сокращала во избежание цензурных неприятностей, не спася этим, однако журнал от преследований, а Религиозно-философские собрания — от закрытия.

Вряд ли найдется еще такой противоречивый писатель с такими же резкими, неожиданными изменениями во взглядах. В 1906—1911 гг. он печатался под псевдонимом в либеральной московской газете «Русское слово», не прекращая в то же время сотрудничества в «Новом времени», и заметки на схожие темы нередко были чуть ли не противоположны по настроению. Когда после периода жесткой православной ортодоксальности у Розанова началось не менее пылкое увлечение Египтом и Израилем, то даже друживший с ним Мережковский журил его за иудейский прозелитизм. А в 1914 году он же добивался исключения своего бывшего друга, впавшего теперь в юдофобство, из Религиозно-философского общества. Наконец, естественен вопрос: стоило ли Розанову переезжать перед революцией в Сергиев Посад, к святыням православия, чтобы написать там свой крайне антихристианский «Апокалипсис», за который, как он сетует в одном из писем, с ним перестали здороваться все славянофилы, кроме Флоренского и Дурылина?..

* * *

Однако при всей внешней изменчивости, «протеизме», как пишет Г. Штаммлер, обращает на себя внимание постоянная приверженность Розанова одним и тем же главным темам. Подобно «двуликому Янусу» (этот образ тоже не раз использовался в литературе о Розанове), он все время колеблется между двумя противоположными, взаимоисключающими точками зрения на особенно интересовавшие его явления — христианство, иудаизм, Россию. Сам Розанов предпочитает не ставить точек над «i»; он «двусмыслен» (Бердяев), так как знает, что нет рационально выводимой «окончательной истины». Эти два полюса, две крайности в трактовке темы постоянно сосуществуют в его душе, и от того, какое настроение преобладает в этот период или даже момент, берет верх та или иная точка зрения. Такой доведенный до предела релятивизм составляет одну из главных отличительных черт Розанова: увлечение язычеством неотделимо у него от приверженности православию и Церкви, уничижительные замечания о России и русских — от доходящих до национальной гордыни восхвалений всего русского, антисемитские политические выступления — от восхищения иудаизмом и любви к еврейскому семейному быту.

Загадочный феномен Розанова пытались разъяснить многие. Рассуждения о юродивости стали общим местом в литературе о нем. Высказывались мнения, что, может быть, Розанов, пишу-

щий так поразительно легко и непроизвольно, выплескивающий в своем прихотливом импрессионизме поток субъективных мыслей и чувств, как происходят выделения организма, — и не человек вовсе, а явление природы, и, как природному феномену, ему просто чужды какие бы то ни было этические принципы. Например, Струве, воздержавшись от участия в кампании по исключению Розанова из Религиозно-философского общества, назвал одним из доводов его органическую «моральную невменяемость». В чем-то схожее суждение высказал и о. Павел Флоренский в своей суровой оценке личности Розанова и мотивов его поведения после появления антихристианского «Апокалипсиса». Не раз высказывались мнения, что Розанов был на грани сумасшествия (Победоносцев в 1895 году, Измайлов о последнем периоде жизни Розанова и др.).

Как бы там ни было, бесспорно одно: Розанову с его «множеством сердец» всегда было мало единственной точки зрения на предмет. Андрей Белый справедливо отметил, что одной из главных особенностей Розанова как мыслителя и писателя является его поразительное умение варьировать свои душевные впечатления, находить в каждом бытовом факте отражения вневременного, вечного, открывать все новые и новые оттенки в тривиальном и общеизвестном. Розанов полагал, что только с 1000 точек зрения можно воссоздать объективную картину реальности. Каждая из этих отдельных «координат действительности» дает лишь некоторое приближение к истине.

Понятно, что для Розанова было неприемлемо партийное политиканство с его идейной категоричностью и догматизмом. Не удивительно и то, что его противоречащие друг другу политические высказывания показались ряду публицистов (Струве, Чуковский, Пешехонов) проявлением нравственной безответственности, вопиющего цинизма по отношению к печатному слову. Но для Розанова точками отсчета были не расхожая мораль либерального общества, не «прогресс» и не «польза», а — «душа», «Бог», «одинокчество», «боль», «кротость», больше подходившие для художника, чем для публициста. Любая тема в интерпретации Розанова так или иначе приобретала метафизическое, экзистенциальное звучание. Умение возвести обыденный жизненный эпизод к вечности, выразительная, полная жизненных деталей образность — это также черты художника. О врожденном символизме Розанова, его мышлении не логическими понятиями, а символическими образами высказывались многие — например, С. Н. Трубецкой, с упреком отметивший, что Розанов ввел символизм в публицистику.

И вполне закономерно, что Розанов в конце концов нашел себя в своеобразном, созданном им самим полухудожественном жанре интимной афористической прозы. В этом жанре «опавших листьев» ему удалось, благодаря особой впечатлительности души и яркому писательскому таланту (по мнению Бердяева, «самый большой дар в русской прозе»), достичь небывалого синтеза мысли, факта и образа, найти через субъективное, фрагментарное воспроизведение действительности новый способ ее отражения во всем динамизме и многообразии, — способ, позволяющий схватывать тончайшие движения души, неуловимые рациональным сознанием оттенки истины. Кроме того, через безудержное самообнажение, разговорность стиля, доверительность тона он добился особой близости с читателем, что считал как писатель своей главной задачей. Здесь особенно пригодились его умение варьировать одни и те же мотивы, сталкивать парадоксальные высказывания, переходить от возвышенно-лирических отрывков, напоминающих стихотворения в прозе, к нарочито приземленным, публицистическим заметкам. Именно такие книги, как «Уединенное» и «Опавшие листья», и создали Розанову в первую очередь репутацию замечательного стилиста с неповторимой, сразу узнаваемой манерой письма. Однако и в философском отношении эти глубоко личные произведения добавляют очень многое к характеристике Розанова. Написанные в период относительного примирения с христианством, они далеко не так тенденциозны, как его главные «идейные» книги — «Темный Лик» и «Люди лунного света». Но зато в них с гораздо большей глубиной выразилось все богатство души Розанова, ярко раскрылись экзистенциальные мотивы его религиозной философии.

Хаотичность, фрагментарность, крайняя амбивалентность творчества Розанова, отсутствие у него философского систематизма, который он отвергал принципиально, не позволяют однозначно отнести его ни к одному из известных направлений философской мысли. При всей своей несомненной перекличке с философами-современниками, Розанов все же всегда и во всем — сам по себе. Он, собственно, и не был «философом» в обычном смысле слова (за исключением первой книги «О понимании» и примыкающих к ней статей), как не был и чистым «писателем» — формально его с гораздо большим основанием можно было бы отнести к публицистам — все-таки основную часть своих идей он выразил через газету. Но то, что для любого другого мыслителя стало бы недостатком, Розанов сумел обратить во благо. Рассчитанная на обычного образованного читателя, лишенная всякого формализма и схоластики, тесно связанная с насущны-

ми повседневными запросами и в то же время неизменно касающаяся «ноуменального», розановская эссеистика выгодно отличается конкретной образностью, живостью восприятия, злободневностью и остротой постановки проблем.

Когда идет речь о Розанове, рушатся любые профессиональные или жанровые рамки. Этот единственный в своем роде философ-журналист, мыслитель-художник, увлекающий нас динамизмом непредсказуемых поворотов фантазии, бурных всплесков непрерывно кипящей субъективной мысли, оказался чрезвычайно созвучным нашему веку с его усилившимся интересом к философии, не стесненной догматическими узами жесткой системы или шорами равнодушного объективизма. Розанов, с его ярко индивидуальным, страстным — и даже пристрастным — видением мира стал одним из наиболее читаемых сейчас мыслителей. Сочинения Розанова привлекают читателей с самыми разными, часто противоположными взглядами — «каждому здесь довольно предметов для мысли», как писал философ в предисловии к одной из книг, — каждый находит у него то, что ему особенно близко. Это говорит о том, что розановское творчество, как и всякая настоящая классика, отличается богатством и многозначностью содержания. Идеи Розанова, несмотря на категорическую неприемлемость для многих тех или иных сторон его воззрений, имеют ту особенность, что они оказывают мощное стимулирующее воздействие на мышление самих читателей, «наэлектризовывают» их, как пишет проницательная Л. А. Мурахина. Высокое место Розанова в отечественной литературе и философии ныне не оспаривается практически уже никем.

* * *

Но так было далеко не всегда — читатель может в этом убедиться, перелистав страницы этой антологии: «contra» явно преобладало над «pro» в оценках его творчества при жизни, и только после его кончины к нему постепенно пришло признание. Можно сказать, что современники, за исключением глубоких, творческих натур да небольшого круга единомышленников, не поняли и не приняли Розанова. И началось это уже с самой первой, чисто философской книги «О понимании», отрицательные рецензии на которую Л. З. Слонимского в «Вестнике Европы» и анонимного критика в «Русской мысли» начисто отбили у читательской публики интерес к огромному трактату молодого мыслителя. Конечно, это еще был не настоящий «Розанов», но книга и не является тем курьезом одинокой мысли, оторванной от

центров науки, каким ее представили авторы рецензий. В этой книге, при всей ее тяжеловесности и схематизме, есть множество интересных мест, заслуживающих внимания исследователей, — сам Розанов указывал, что книга является почти открытой полемикой против позитивизма профессоров Московского университета. Несмотря на внешнее гегельянство, Розанов трактовал проблему познания не логически, а космологически. Органический взгляд на мир, идея потенциальности, космологизм розановских воззрений, получивших развитие в его последующих работах, наметились уже в этой наивной и самобытной книге, где нет ни одной ссылки на философские авторитеты. Книга «О понимании» еще ждет глубокого исследователя в контексте всего розановского творчества. Можно сказать, что она в каком-то смысле и существует для того, чтобы показать, что Розанов — действительно «философ», умеющий мыслить и писать в строгой академической манере. Наконец, этот фундаментальный труд, требовавший огромных знаний и многолетней подспудной работы ума, опровергает расхожее мнение критиков о необразованности Розанова и о его неспособности к серьезной, методичной работе, сложившееся не без влияния своеобразной самоуничижительной бравады самого Розанова.

Неуспех книги «О понимании», на которую возлагалось столько надежд, совпал с личной трагедией — Розанова оставила жена, А. П. Суслова, на которой, как Розанов сам признавался, он женился не в последнюю очередь потому, что она была когда-то в близких отношениях с Достоевским, его любимым писателем. Этот странный союз (Суслова была к тому же на семнадцать лет его старше), имевший для Розанова столь печальные последствия из-за нежелания Сусловой дать ему развод, стал первым заметным свидетельством того душевного излома, который обнаруживается критиками и в его личности, и в творчестве. Исходя из розановских слов, что «между женой и мужем не было надлежащего целомудрия», и других его подобных намеков, можно предположить о влиянии «инфернальной» Сусловой с ее холодной чувственностью на проявившийся позже особый интерес Розанова к сфере пола. Поразительно, однако, огромное сходство Розанова с не менее изломанными героями Достоевского, от Карамазовых до «подпольного человека», которое отмечают многие критики (например, Закржевский).

Нравственное исцеление после трагического и унижительного разрыва с Сусловой принесло Розанову знакомство с В. Д. Бутягиной — скромной, не слишком образованной вдовой из бедного, но благородного елецкого семейства с давними церковными

традициями: из этой семьи происходили такие выдающиеся деятели Церкви, как Иннокентий Борисов, архиепископ Херсонский и Таврический, и Ионафан, архиепископ Ярославский. Роль В. Д. Бутягиной-Розановой, человека наследственной, глубокой религиозной веры, в духовной жизни мыслителя очень велика. При всех его бесконечных жизненных колебаниях она твердо стояла на православных позициях, удерживая философа от отпадения от Церкви. Без понимания атмосферы семьи Розановых, основанной на незыблемых христианских началах, невозможно понять неизменное возвращение «блудного сына» к православию и Церкви, в том числе и последний, очень важный его шаг — предсмертное причастие по православному обряду, вызвавшее столько кривотолков и споров.

Философский склад личности Розанова ярко проявился уже в том, что в Ельце, едва преодолев духовный кризис, он принял вместе с другим учителем, П. Д. Первовым, ярко описавшим этот период в жизни Розанова, за перевод «Метафизики» Аристотеля — занятие для учителей провинциальной школы весьма неординарное.

В годы учительства Розанову неожиданно легко и быстро удалось обрести и искомую связь с основной русской литературной традицией — он вступил в переписку сразу с тремя видными представителями русского консерватизма, Н. Н. Страховым, К. Н. Леонтьевым и С. А. Рачинским, сыгравшими важнейшую роль в его становлении как мыслителя и писателя. Это были действительно заметные, интересные люди: Страхов тесно сотрудничал с Достоевским, дружил с Толстым; Леонтьев писал ему не откуда-нибудь, а из Оптиной пустыни, где находился под духовным водительством знаменитого, очень уважаемого Розановым старца Амвросия; Рачинский, хотя и жил в деревне, преподавая крестьянским детям в собственной церковной школе, но эта школа бывшего университетского профессора была известна всей России. К тому же Рачинский вел обширную переписку, в том числе и с самим Победоносцевым, с которым дружил со времени профессорства.

Само это сближение Розанова с известными людьми достаточно поразительно: ведь, кроме книги «О понимании», которой никто не читал, никаких особых заслуг или приметных достоинств, способных привлечь внимание именитых «собеседников», за Розановым не числилось. Но это было время торжества позитивизма, когда все настоящие мыслители, буквально задыхаясь в душной атмосфере усредненного сциентизма и либеральной риторики, чувствовали себя «литературными изгнанниками» и

были рады каждому молодому приверженцу дорогих им православно-славянофильских идей. Живая впечатлительность, отзывчивость молодого провинциального мыслителя, горячая поддержка им консерватизма и глубокое понимание трагического одиночества своих корреспондентов позволили ему за короткое время стать близким для каждого из них человеком, не в последнюю очередь из-за того, что они остро нуждались в молодых единомышленниках. Розанову это общение дало очень много. Но и он сполна отблагодарил старших друзей, расширивших его жизненные горизонты и помогавших преодолевать тяготы провинциальной рутины, а потом и перебраться в столицу — он стал впоследствии ревностным популяризатором и глубоким истолкователем их творческой деятельности, причем каждый раз подкрепляя свои суждения личными впечатлениями.

Важнейшую роль в становлении Розанова сыграл, конечно, Н. Н. Страхов. На долю этого большого ученого, философа и критика выпала участь литературной «няньки» непрактичного молодого писателя. Его поддержка позволила Розанову вновь обрести себя после неудачи с первой книгой, о которой, кстати, Страхов, хотя и с запозданием, написал положительную рецензию. Не без его участия, с подачи члена страховского кружка П. А. Кускова, о книге дал хороший отзыв в читаемом всей Россией «Новом времени» Буренин. Страхов пристраивал в столичный журнал и перевод «Метафизики», помогал философу-учителю публиковать его первые статьи. Страхов терпеливо, со свойственной ему методичностью истинного педагога (увы, без кафедры, о чем не раз сетовал Розанов) наставлял непоседливого, порывистого Розанова, безуспешно пытаясь привить ему необходимую для привлечения широкой читательской аудитории «школу», навык культурной работы. Он действительно был «крестным отцом» Розанова в литературе, как тот позже оценил его роль в своей творческой биографии. Страхов стал к тому же для Розанова олицетворением живой связи с основным течением русской литературы и мысли, которой он давно искал и безуспешным, даже болезненным проявлением которой стала его женитьба на бывшей любовнице Достоевского. При огромной образованности и редких аналитических способностях, как отмечал Розанов, Страхов обладал умением говорить просто о самых сложных вещах. Сочинения Страхова, не имеющие внешней яркости, таят в себе множество глубоких, самостоятельных мыслей. Однако, как печалился Розанов, этот вдумчивый ученый, по глубине ума чуть ли не превосходивший Соловьева, обладал исключительно критическим, но не творческим складом

ума — всю жизнь он высказывался только по поводу чужих сочинений. Как консерватор-«почвенник», Страхов был Розанову очень близок, однако несовпадение их натур было разительным. При всей своей «борьбе с Западом» аккуратный, уравновешенный, лишенный темперамента Страхов по всему складу личности, по уровню образования и культуры и, наконец, по исповедуемому им в философии гегельянству был скорее «европейцем». Ему были совершенно чужды такие характерно русские качества, как страстность, безудержный иррационализм, стихийность и хаотичность, едва ли не самым ярким воплощением которых, по иронии судьбы, после страховского учителя Аполлона Григорьева станет именно Розанов, его ученик.

Розанов, написавший не одну блестящую статью о недооцененном философе, «изменил» Страхову только раз в жизни, но это была очень важная, принципиальная измена — о сухости, эгоистичности и завистливости Страхова он писал в 1891 году своему новому «кумиру», мало тогда кому известному К. Н. Леонтьеву, отношения которого со Страховым, несмотря на консервативные взгляды обоих, были далеко не дружескими. Леонтьев по своему темпераменту, по направлению идей и складу личности оказался несравненно ближе эмоциональному, противоречивому Розанову.

Заочная дружба с Леонтьевым, продолжавшаяся менее года, оставила заметный след не только в жизни уездного учителя — их переписка, оказавшая на Розанова существенное влияние, стала явлением всей истории русской философии. При публикации писем Леонтьева в 1903 году Розанов дал блестящую и самую глубокую характеристику своего старшего современника, хотя и до этого, и потом писал о нем много раз. В этой статье, известной по переизданию под названием «Неузнанный феномен», Розанов не только указал на сближавшие его с Леонтьевым черты, главной из которых было сходство темпераментов, а в идейном отношении — ненависть к либералам-позитивистам, но и на особенности Леонтьева как человека и мыслителя. Розанов находил особую привлекательность в отличавшем Леонтьева причудливом соединении эллинского эстетизма и крайнего, «черного» монашества, хотя понимал, что приверженность этого «турецкого игумена» христианству основывалась не на глубокой вере, а на эстетическом страхе «разрушительного уравнительного процесса», опору против которого Леонтьев нашел в суровом, непримиримом к миру византийском варианте православия. Розанов подчеркивает, что Леонтьев в своем эстетическом консерватизме был аристократом, отвергавшим сострадание и кротость, в

том время как он сам, выходец из бедной семьи, «органически» не мог отказаться от сострадания и воспринимал христианство как религию утешения, в отличие от леонтьевского квиетизма. Розанов прямо проводит аналогию между Ницше и Леонтьевым, указывая прежде всего на сближающий их решительный отказ от христианского смирения, несмотря на леонтьевское монашеское «православие». Будущее покажет, однако, что религиозный эстетизм Леонтьева оказался для Розанова даже более заразительным, чем думал он сам. Обнаружившееся впоследствии частичное сходство Розанова с Ницше, от которого сам Розанов упорно отказывался именно из-за отрицания ницшеанским «Сверхчеловеком» близкого ему духа кротости, шло у него в значительной степени от влияния леонтьевского эстетизма. Поразительно только, что Розанов, обратившись через некоторое время, после увлечения темами связи религии и пола, к критике христианства, воспринимал его в монашески-византийской, непримиримой к миру «леонтьевской» трактовке, хотя всегда вполне осознавал, что Леонтьев — настоящий «русский Ницше» — был, по меньшей мере, «немножко еретиком».

Рачинский как мыслитель практически неизвестен, хотя Розанов часто упоминает автора «Сельской школы» среди наиболее ярких православно мыслящих деятелей нашей культуры. Рачинский был не только выдающимся педагогом-подвижником, но и человеком интереснейшей судьбы и разнообразных талантов. Уже в молодом возрасте он перевел на немецкий язык «Семейную хронику» Аксакова, был утонченным знатоком музыки, написал гимн в честь Франциска Ассизского, который был положен на музыку Листом, великолепно проявил себя как ботаник, занимаясь в Германии у знаменитого М. Я. Шлейдена, а известный историк философии К. Фишер рекомендовал ему отдать предпочтение по складу ума именно философским наукам. Но Рачинский избрал ботанику и стал профессором Московского университета. Некоторое время выступал и редактором катковского «Русского вестника». Словом, это был человек большой европейской культуры, глубоко верующий христианин, консерватор-славянофил по убеждениям, не чуждый философских интересов. Общение и переписка Розанова со знаменитым педагогом дали ему очень много. Кстати, исследователями недооценивается роль Рачинского в устройстве дел Розанова в связи с его переводом в Петербург. Известный сановный «славянофил»-меценат Т. И. Филиппов, обратив по публикациям в консервативных изданиях внимание на Розанова, пытался именно через Рачинского встретиться с ним. Однако Розанов, после неблаго-

приятной оценки Филиппова Рачинским, уклонялся от этой встречи, пока сельский педагог предпринимал усилия, чтобы устроить его в помощники к К. П. Победоносцеву. Можно себе представить, насколько иначе могла сложиться в этом случае судьба Розанова. И только когда выяснилось, что у «всемогущего» главы Св. Синода вакансий нет и не предвидится, Розанов обратился к Филиппову и вскоре был переведен в Петербург.

Дружеская переписка Розанова с Рачинским продолжалась почти десять лет и прервалась незадолго до кончины татевского педагога из-за неистового увлечения Розанова темой связи религии и пола. Розанов буквально забросал сельского отшельника-аскета своими длинными, эмоциональными письмами-трактатами о целиком поглотивших его внимание неизученных вопросах. И хотя Рачинский, сначала сдержанно, а потом и раздраженно, отговаривал Розанова от «психо-физиологических копаний», Розанов, не способный сдержаться, атаковал Рачинского все новыми и новыми соображениями, отражавшими процесс возникновения его «фаллической» философии. Рачинский, человек твердых христианских убеждений, сразу увидел опасность новых увлечений Розанова (приведших их в конце концов к ссоре), и, как показал дальнейший ход событий, его опасения оказались не безосновательными. Переписка Розанова с Рачинским, интересная и сама по себе, показывает, насколько стремительно шел процесс изменения взглядов Розанова во второй половине 1890-х годов. Показательно, что в письмах Розанова этих лет сложился почти весь комплекс тех новых идей, которые получили выражение в книгах «Религия и культура», «Семейный вопрос в России» и «В мире неясного и нерешенного», а окончательно оформились в «Метафизике христианства».

* * *

В 1891 году Розанов привлек к себе внимание, опубликовав в «Московских ведомостях» четыре ярких фельетона, направленных против позитивистского «наследия 70-х годов». Консервативную направленность этих живо, заинтересованно написанных очерков отметил вступивший в спор с Розановым законодатель вкусов либеральной интеллигенции Н. К. Михайловский, который станет одним из основных оппонентов Розанова в критике, создавших ему репутацию одиозного публициста-реакционера. С другой стороны, консервативные статьи Розанова привлекали к нему и внимание редких единомышленников. Так, в период работы в провинциальных гимназиях Розанов вступил в пере-

писку еще с одним незаурядным консервативным публицистом — И. Ф. Романовым, писавшим обычно под псевдонимом «Рцы». Романов-Рцы раскрыл наивному Розанову глаза на аморальную сущность некоторых деятелей русского консерватизма (в частности, В. П. Мещерского), во многом избавив его от провинциальных иллюзий. Когда Розанов получил вслед за Романовым-Рцы от меценатствующего Государственного контролера Филиппова предложение переехать в Петербург, он поселился с Романовым в одном доме и сразу попал в средоточие собранного Филипповым в столице кружка писателей на церковные темы. Однако общение Розанова с этим кружком петербургских «славянофилов» — а точнее, эпигонов славянофильства, — было для него крайне разочаровывающим и вызвало со временем реакцию отторжения, сыграв не последнюю роль в его отходе от консерватизма. Розанов, которого отсутствие всякого понимания и материальной поддержки со стороны Филиппова привело к длительному периоду крайней нужды, написал немало резких слов об этих «славянофилах» и особенно Филиппове и Васильеве, от которых он зависел по службе. Из всего кружка только с Романовым-Рцы он сохранил дружеские отношения и испытывал интерес настоящего общения (хотя и не раз ссорился). И не случайно он назовет позже этого «гениального тунеядца», так и не сумевшего заметно проявить себя в творчестве, одним из трех людей, которых считал талантливее себя. Если бы не Розанов, имя И. Ф. Романова давно бы кануло в лету. Романов-Рцы, которого называли «маленьким Розановым», часто писал с ним на сходные темы и в чем-то похожей свободной, хаотической манере. Шкловский прав, отмечая, что идея «Опавших листьев» возникла не без влияния романовского «Листопада».

Другим таким никому не известным мыслителем, которого очень высоко оценивал Розанов, был рано умерший философ и критик Ф. Э. Шперк. В дружеском общении с этим молодым поклонником его творчества Розанов впервые, как утверждает Перцов, почувствовал себя самым собой — тем самым «Розановым» с характерным кругом идей, с которыми сегодня обычно ассоциируется его имя. Шперк поддерживал увлечение Розанова темой пола, и эта идейная поддержка со стороны младшего друга и послужила, видимо, основной причиной того, что Розанов так высоко оценил его как мыслителя, поставив, например, в письме Голлербаху даже выше В. С. Соловьева. Конечно, склонному к парадоксам Розанову были свойственны такие неожиданные оценки, к которым он часто прибегал, чтобы ярче оттенить свое суждение, но здесь в большей степени отразилась близость

идей Розанова и Шперка, чем реальная оценка Розановым Соловьева.

Отношения Розанова и Соловьева — этих едва ли не самых значительных философов рубежа веков, представляющих во многих отношениях противоположные полюсы отечественной религиозной мысли, — отдельная, очень большая тема. К середине 1890-х годов у Розанова уже была прочная репутация крайнего реакционера и юродивого, и эта репутация елейного, фари́сействующего обскуранта возникла не без активного участия Владимира Соловьева, после эффектного фельетона которого за Розановым закрепилось прозвище «Иудушка Головлев». Но несмотря на их резкую полемику о свободе и вере, Соловьев через год сам приехал знакомиться с Розановым, ибо, как он объяснял, Розанов — один из тех немногих людей, с которыми можно обсуждать религиозные вопросы, например, тему об антихристе. Долгое время отношения Розанова и Соловьева были вполне дружескими, однако затем они снова вступили в резкую полемику. В конце 1890-х годов взгляды философов претерпели стремительные изменения, причем они словно менялись местами: Розанов шел к допущению большей религиозной и идейной свободы, критикуя христианство, в то время как Соловьев двигался в обратную сторону. В 1899 году Соловьев еще раз кольнул Розанова за не слишком соответствующую юбилею статью о Пушкине, видимо, «отплатив» за предыдущую розановскую критику. Розанов также не остался в долгу: он громко, как-то демонстративно рухнул с креслом на предельно мистической лекции Соловьева об антихристе, а потом объяснил печатно, что заснул, так как лекция была нестерпимо скучна.

Розанов и Соловьев много спорили при жизни, еще больше Розанов спорил с Соловьевым после смерти знаменитого философа. При том, что их объединяла религиозно-философская тематика, подходы Розанова и Соловьева были совершенно разными. Достаточно сказать, что Розанов крайне скептически относился к богословским сочинениям Соловьева, считая их «эклeктическими»; неизменно высоко он оценивал только его стихи. К тому же их союз не сложился и из-за того, что Соловьев как-то сочетал религиозность с либеральными политическими взглядами и печатался во враждебном Розанову «Вестнике Европы». Розанов написал о Соловьеве множество статей, и хотя некоторые из них несправедливы к создателю философии «всеединства», лучшие прекрасно воссоздают личность этого большого мыслителя. По замечанию А. Ф. Лосева, «мало кто говорил о Вл. Соловьеве так метко и так проникновенно» — «настолько же ясно и просто,

насколько и гениально». Соловьев и Розанов очень непохожи, во многом противоположны — и прежде всего по политическим позициям и взглядам на национальный вопрос. Однако их сближает глубоко религиозный, мистический подход к философским проблемам, неприятие позитивизма, исключительная творческая одаренность. Обоих их отличает и характерная для переломной эпохи внутренняя раздвоенность. Поразительно то, что у обоих религиозных мыслителей находили не только несомненные черты гениальности, но и отмечали явное присутствие демонизма — и того, и другого не раз называли «антихристом» (в отношении Соловьева это делал и Розанов в «Литературных изгнанниках»).

В споре Розанова с Соловьевым по поводу свободы и веры даже Буренин вступился за Соловьева — настолько неприлично резкими показались ему выпады Розанова против философа. Через год Буренин снова напал на Розанова из-за статьи о Толстом, критикуя его за «семинарское лицемерие, юродство и кликушество». Любопытно, что рядом с Розановым ни во что не верящий Буренин ставит и других ведущих консервативных критиков-публицистов — Ю. Н. Говоруху-Отрока и Л. А. Тихомирова. Еще более характерно, что в том же фельетоне, после «разгрома» религиозных «юродивых», Буренин высмеивает «юродивые произведения» двух поэтов-декадентов — В. Я. Брюсова и А. М. Добролюбова. Все это очень показательно и свидетельствует как об отсутствии в консерватизме идейного единства (Буренин смыкался в своей критике Розанова и «декадентов» с Михайловским), так и об определенной прозорливости нововременского «Терсита»: хотя Розанов в то время еще не только не помышлял о союзе с символистами, но и сам громил их в печати, предпосылки их грядущего сближения были явно налицо.

В эти годы Розанов очень много печатается в консервативных журналах и газетах, но непопулярность самих этих изданий и общая деградация консерватизма не позволяли Розанову надеяться на широкий успех его сочинений. По мере увлечения Розанова темой «святого пола» слабеют его связи с консервативной печатью, хотя и не прерываются окончательно. Во второй половине 1890-х годов Розанов печатается в изданиях разных направлений, прежде всего потому, что к этому его побуждала острая материальная нужда, а также из желания провести в печать связанные с новой темой материалы, независимо от того, где они будут опубликованы. Розанов в эти годы печатался в «Новом времени», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Русском слове», «Гражданине» и даже в «Торгово-промышленной газе-

те». Но все же главным местом в 1898—1899 годах, видимо, следует считать «Русский труд» С. Ф. Шарапова, хотя бы потому, что в нем он опубликовал свою программную статью «Брак и христианство», а также потому, что с идеями Розанова были связаны многие публиковавшиеся там материалы. Один из номеров Шарапов фактически посвятил Розанову, опубликовав в нем его автобиографию, свой очерк о мыслителе и поместив на титуле еженедельника его фотопортрет с факсимильно воспроизведенным автографом. В своей статье Шарапов назвал Розанова одним из современных гениев, наряду с Толстым и Соловьевым. Это было уже какое-то признание, хотя «Русский труд» Шарапова мало кто читал, да и «прославлял» он философа с оговорками — ему не нравилось увлечение Розанова новыми идеями, которое он находил болезненным.

Подружившись в этот период с молодым издателем и критиком П. П. Перцовым, сочетавшим «соловьевство» с умеренным славянофильством, Розанов через него сближается с кружком символистов-«богоискателей» во главе с Мережковским, которые проявляют большой интерес к необычному философу, чьи смелые мысли о взаимоотношении религии и пола были подхвачены и по-своему интерпретированы этими деятелями «нового религиозного сознания». Именно в среде «декадентов», которых еще совсем недавно критиковал Розанов на страницах консервативных журналов, он нашел понимание и интерес к своим новым теориям. Особенно привлекло Розанова то, что «декадентство» оказалось более действенным способом борьбы с позитивизмом, чем лишенный общественной поддержки консерватизм. Идеи необходимости религиозного обновления набирали силу одновременно с ростом популярности новой литературы, нового искусства, которые сначала воспринимались лишь как «декадентщина» и индивидуалистический эпатаж общественного мнения. Смелые, шокирующие религиозно-сексуальные идеи Розанова пришлись как нельзя кстати и были использованы Мережковским в собственных, основанных на антитезе духа и плоти построениях о грядущем Третьем Завете. Вдохновляясь идеей духовного обновления общества, приближения Церкви к жизни, Розанов вместе с Мережковским и другими представителями «нового религиозного сознания» принял активное участие в организованных ими Религиозно-философских собраниях. Мережковский и Розанов хорошо дополняли друг друга: Розанов был неистощим в разработке новых идей, а Мережковский с его огромной эрудицией и темпераментом общественного деятеля играл роль внешнего лидера-организатора. Выделяя Розанова и Мережков-

ского, естественно, не следует недооценивать и участие в этой деятельности Философова, Минского, Карташева и особенно Зинаиды Гиппиус.

В этот период количество критических отзывов о Розанове заметно увеличилось. Популярность Розанова выросла уже после издания Перцовым с небольшим перерывом сразу четырех сборников ранних статей, как бы подводившим итог первому периоду его творчества. На эти сборники было опубликовано немало рецензий, среди которых следует выделить статью П. Б. Струве о «Сумерках просвещения» — едва ли не впервые в либеральной печати появился серьезный, положительный по тону отзыв о писателе, о котором прежде публиковались лишь разгромные, издевательские или насмешливые фельетоны. Сотрудничество Розанова в газете «Новое время», которое с 1899 года стало постоянным, сделало его известным публицистом, а участие в Религиозно-философских собраниях закрепило его уже очевидную, хотя и во многом скандальную известность.

Своеобразие положения Розанова было в том, что он настроил против себя все основные категории потенциальных читателей — либеральная часть интеллигенции сохранила к нему предубеждение из-за былой репутации одиозного фарисействующего реакционера, подкреплявшейся его поступлением в «Новое время», да и его искания в сфере религии и пола многими рассматривались как декадентский интерес к «клубничке». Оттолкнул от себя Розанов и значительную консервативную аудиторию, особенно представителей духовенства, энергично опровергавших в церковной печати его рассуждения по поводу христианского брака. Что же касается консервативной печати, то, например, по части брани в адрес «утонувшего в микве» Розанова Н. Я. Стечкин-«Стародум», критик «Русского вестника», где еще недавно печатался философ, не уступал громившим «реакционера» многочисленным фельетонистам левых газет и журналов, вроде Н. П. Ашешова или С. Б. Любошица.

Единственной «аудиторией», где Розанов получил несомненное признание, были «декаденты». Именно Мережковский первым во всеуслышание заявил о «гениальности» Розанова, назвав его в своей работе «Л. Толстой и Достоевский», напечатанной в «Мире искусства», «русским «Ницше». Очень тесным было сотрудничество Мережковского и Розанова и в журнале «Новый путь». Однако в результате первой русской революции взгляды Мережковского и его окружения резко «полевели», и под влиянием этой группы, после ее возвращения в 1908 году из Парижа, совсем иной, явно политизированный характер стала приобре-

тать и деятельность возобновленного Религиозно-философского общества. Идеи «религиозной общественности», которые утверждал теперь Мережковский, все больше сближали его с радикальной частью интеллигенции. Розанов же, наоборот, разочарованный итогами революции и «самодовольством» либеральной оппозиции, в 1909 году начал выступать против революционеров с резкими статьями, возмущавшими Мережковских и примыкавших к ним публицистов. Идеино Розанов снова сблизился с консервативным лагерем, хотя, по существу, работая в «Новом времени», он его никогда и не покидал. Это не помешало Розанову выпустить в 1910 году книгу написанных прежде, восхвалявших революцию статей и продолжать сотрудничать в либеральном «Русском слове», откуда его попросили в 1911 году после ультиматума Мережковского и Философова. Выход сборника «Вехи» подтвердил размежевание Розанова с Мережковским и его кругом, а полемика после убийства Столыпина окончательно развела их по разные стороны баррикад. Итогом этой вражды стало требование в 1914 году со стороны Мережковского и других бывших друзей Розанова его исключения из Религиозно-философского общества.

Надо отдать должное Мережковскому, который задолго до разрыва провидчески указал, что они с Розановым — две противоположности, на время сошедшиеся в одной точке. Парадоксальность ситуации состояла в том, что Розанов, выступавший с резкими выпадами против христианства, выражал свои *жизненные* переживания и оставался все-таки реально связанным с православием, с Церковью, в то время как без меры пользовавшийся христианской терминологией Мережковский всегда оставался лишь *литератором*, а создававшаяся им и его окружением «новая церковь», напоминавшая сектантский «корабль», была, может быть, еще большим еретичеством, чем розановская антихристианская хула. Как ни странно, сближало Розанова и Мережковского на рубеже веков именно антихристианство, хотя скрыто-рационалистичный Мережковский этого никогда не признавал. Постоянно упрекая Розанова в лукавстве его бунта, он требовал, чтобы тот яснее высказался, решив для себя: «за» Христа — или «против». Но для Розанова разрыв с христианством, несмотря на все обличения, был невозможен по сути: язычество и христианство были двумя полюсами его души. Розанова можно было увлечь «декадентским» причащением кровью, но его нельзя себе представить в сектантской «новой церкви» дома Мурузи. Отход Мережковского от прежних религиозно-метафизических тем представлялся Розанову откровенной изменой —

«Мережковский потерял личность, из Павла обратился в Савла». Попытка соединения религии и революции, вылившаяся на практике в борьбу Мережковского с Церковью как оплотом реакционного самодержавия и всяческую поддержку политической оппозиции, в творческом отношении свелась, по мнению Розанова, несмотря на декларируемую религиозность, к обыкновенной либеральной риторике. Об этом же убедительно писал, в частности, Вяч. Иванов.

Выпуск Розановым в 1911 году написанной гораздо ранее «Метафизики христианства» («Темный Лик» и «Люди лунного света»), особенно примечательной силой выражения антихристианских идей, никак не согласовывался с его возвратом к консервативно-православным позициям. Не менее шокирующее впечатление, хотя и другими качествами — своей демонстративной обнаженностью и вызовом «прогрессистам», — произвела и вышедшая в 1912 году книга «Уединенное». Но к этому времени, как справедливо замечает Измайлов, Розанов уже пробил себе дорогу — его читали независимо от взглядов, и хотя большинство рецензий на эту необычную книгу было отрицательными или даже издевательскими по тону, пройти мимо этого незаурядного явления в литературе не могла себе позволить уже и диктующая моду либеральная «общественность». К этому времени стало понятным: Розанов настолько самобытен и неуправляем, что его нельзя оценивать с обычных партийных или иных догматических позиций, а можно только принимать таким, какой он есть, ценя за выдающийся талант и собственное видение мира. Круг почитателей Розанова все время расширялся, и хотя в прессе преобладали ругательные отзывы «справа» и особенно «слева», теперь мы знаем, что Розанова ценили многие видные представители русской культуры — и среди них даже Горький, состоявший с Розановым в переписке. За шумными выступлениями «левой» прессы не было сразу заметно, что среди молодежи появилось уже немало почитателей Розанова — Н. Н. Русов (посвятивший ему в 1910 году свою первую книгу), В. Р. Ховин, Э. Ф. Голлербах, С. Н. Дурылин... В том, что их голоса, кроме, разве что, Голлербаха, не зазвучали в 1920-е годы на полную мощь, нет их вины. Но уже сам факт, что творчество Розанова становилось не только объектом критического анализа, говорит о многом.

Среди религиозных мыслителей этого периода Розанов пользовался безусловным признанием как подлинный талант, хотя его «пансексуализм» и подвергался ими порой сокрушительной критике. Типичным примером может служить большая статья А. С. Глинки-Волжского, который ярко раскрыл демоническую

сущность «фаллической» философии Розанова и который, тем не менее, состоял с Розановым в дружеской переписке. О Розанове интересно писали Бердяев, Тареев, Булгаков, Шестов. С большинством из религиозных философов Розанов был хорошо знаком, и почти с каждым его связывали не только личные встречи, но и творческие отношения. Следует подчеркнуть, что даже в газетной публицистике Розанова собственно литературно-философская проблематика занимает ведущее место. Розанов создал огромное количество блестящих, рельефных психологических портретов, отличающихся, как и все у него, нестандартностью оценок, меткостью наблюдений и глубоким постижением творческой индивидуальности. У Розанова можно найти интереснейшие, подчас абсолютно противоречащие друг другу статьи, заметки, сопоставления, отдельные высказывания почти о всех крупных деятелях русской культуры. О ком он только не писал! Ему принадлежит множество ярких статей о каждом из классиков отечественной литературы, эссе о славянофилах и Чаадаеве, Страхове и Рачинском, Леонтьеве и Соловьеве, Победоносцеве и Каткове, Шестове и Бердяеве, Флоренском и Булгакове... Статьи Розанова о творческих личностях — это чаще всего своего рода аксиологические этюды. Выстроив в начале ту или иную исходную теорию ценностей в зависимости от намерения и преобладающего у него настроения, он проводил бесконечные сопоставления различных писателей или мыслителей, делая на основе этих историко-культурных параллелей немало тонких и порой неожиданных, парадоксальных выводов. Большинство его статей о современниках имеет особую ценность из-за редкостного умения Розанова привнести живую, личную ноту, использовать важные детали, зорко подмеченные при знакомстве. Розанов, обладая чуткой, отзывчивой душой, умением поразительно быстро и адекватно запечатлеть на бумаге свои мысли и переживания, является одним из самых значительных, может быть, до сих пор недостаточно оцененных, историков русской культуры рубежа веков. Он отличался, как мы уже отмечали, уникальной способностью бесконечно варьировать свои заметки, и при редкой легкости пера в его многочисленных статьях на сходные темы, как правило, нет однообразия. Так, например, в одном 1916 году он опубликовал более десятка статей о философском творчестве Бердяева, и это не проходные газетные фельетоны, а большие эссе, заслуживающие внимания емкостью, осязательностью характеристик и оригинальностью подхода.

Во второй половине 1910-х годов, утратив духовную связь с петербургской интеллигенцией, Розанов все чаще обращает свое

внимание на «молодых московских славянофилов» — В. А. Кожевникова, С. Н. Булгакова, о. Павла Флоренского, В. Ф. Эрн, С. А. Цветкова, Ф. К. Андреева и др. Он выражает желание сотрудничать с московским религиозно-философским издательством «Путь», активно переписывается с москвичами. Особенно выделял он в московском кружке о. Павла Флоренского, отношения с которым, несмотря на все их кричащие мировоззренческие разногласия, можно назвать дружескими. Примечательно, что Зинаида Гиппиус даже усиление националистических и антисемитских настроений у Розанова приписывает влиянию о. Павла, хотя это, конечно, преувеличение. Большая, полная восхищения статья Розанова «Густая книга», посвященная фундаментальному труду Флоренского «Столп и утверждение истины», так не похожему на его собственные сочинения, как и многочисленные восхищенные отзывы о Флоренском в письмах, говорит о том, что они были друг другу интересны прежде всего ярким своеобразием, глубокой самостоятельностью творчества. Но помимо взаимного интереса двух больших мыслителей, были и менее явные, внутренние мотивы. Конечно, их сближало религиозное, мистическое видение мира. Кроме того, Флоренскому также не был чужд идеал «живого» христианства, более тесно связанного с повседневной жизнью, — утверждение единства духа и плоти в развитие традиции, родоначальником которой был малоизвестный мыслитель архим. Феодор (А. М. Бухарев). Розанов не раз писал о нем, а Флоренский, будучи редактором «Богословского вестника», опубликовал множество важных материалов об этом ярком стороннике привнесения христианства в мирскую среду. Более того, известно, что после революции Флоренский работал над исследованием об А. М. Бухарева, считая, что «только теперь приходит время его настоящей оценки». Розанова, как и Флоренского, отличает глубокая связь с онтологической традицией — как справедливо отмечает прот. В. Зеньковский, Розанов, даже как проповедник язычества и Ветхого Завета, «весь пронизан лучами Христовой победы» — он был бы невозможен без Христа и уже неотрывен от христианства. Наконец, еще одна очень важная черта, общая у Розанова и Флоренского — их любовь к России, к русскому, общее «костромское» начало. Они и не помышляли о возможности отъезда из России в смутные времена, и это их очень сближает. Схожими были, вероятно, и их взгляды по еврейскому вопросу, но эта до сих пор болезненная тема не может быть объективно раскрыта из-за недоступности их переписки.

Перебираясь с семьей в 1917 году, еще до Октябрьской революции, в Сергиев Посад, Розанов, конечно, думал не только о том, чтобы скрыться «с глаз долой», хотя он и понимал, что могло ждать его, известного «реакционера-нововременца». Но решающее значение имело, видимо, намерение обрести к старости духовное успокоение среди все-таки наиболее близких ему церковно-мыслящих людей, у стен главной святыни православия. Однако катастрофическое развитие событий привело к непредвиденному сдвигу в его душе — новой бурной вспышке языческих, антихристианских настроений. Бердяев, Гершензон, С. И. Фудель и другие очевидцы московских поездок Розанова лета 1918 года свидетельствуют о его крайней враждебности к христианству в это время, да это и так ясно из каждой строчки потрясающего «Апокалипсиса нашего времени». Между тем, окружение Розанова в Сергиевом Посаде было совершенно православным — помимо о. Павла Флоренского и глубоко религиозной семьи Олсуфьевых, с которыми Розанов особенно много общался в этот период, он был знаком (а, как пишет Т. В. Розанова, и даже дружил) с замечательным деятелем Церкви, архим. Иларионом Троицким и другими представителями духовенства. Близким к семье Розановых человеком был опекавший философа во время его поездок в Москву молодой религиозный мыслитель С. Н. Дурылин, ставший в эти страшные годы священником и служивший в приходе выдающегося московского «старца в миру» о. Алексея Мечева (после ареста и ссылки Дурылин сложил с себя сан и занялся историей литературы и театром). Воспоминания этого искреннего почитателя розановского таланта принадлежат к числу самых значимых мемуарных свидетельств о последнем этапе жизни философа. Христианская кончина Розанова, несмотря на выразившуюся в этом поступке очередную логическую непоследовательность религиозного анархиста, имела обоснование в той православной среде, в которой завершилась его жизнь. Предсмертные письма Розанова, полные духа примирения, да и сама его кончина, заставили всех снова обратить на него пристальное внимание.

* * *

Вообще, когда Розанов приближался к своей последней черте, и особенно после его полуголодной смерти, осознание значительности роли этого бунтаря и мечтателя в отечественной культуре, несмотря на всю сложность и извилистость его творческого пути, пришло ко многим. Нельзя, правда, сказать, что и в доре-

волюционной критике не было глубоких, серьезных исследований творчества Розанова — достаточно назвать основательные очерки Волжского, Грифцова, Закржевского, проницательные обобщения Бердяева и Тареева, меткие наблюдения раннего Мережковского, Философова, Перцова, объективные, взвешенные характеристики Измайлова. Однако большинство статей о Розанове носило тогда частный, обычно полемический характер. И только в 1918 году, в брошюре Э. Ф. Голлербаха, много общавшегося с Розановым до его отъезда из Петрограда, впервые получили отражение все основные грани противоречивой личности Розанова и были освещены, хотя и бегло, главные этапы его творческой биографии.

Последние статьи Голлербаха, как и письма Розанова к нему, появились уже на Западе — в советской России имя Розанова было вытеснено сначала из печати, а потом и из памяти. И это не удивительно: едва ли какой другой мыслитель мог вызвать большее озлобление идеологов большевизма, чем этот непредсказуемый мистик и монархист, посвятивший немало страниц своих книг разоблачению лживой сути революционного движения. Отношение властей к Розанову вполне выразилось в предельно неприязненной заметке о нем Л. Д. Троцкого. Она делает понятным, почему не получили воплощения многочисленные планы, связанные с изданием книг, в том числе и собрания сочинений Розанова, и увековечение его памяти. Что касается русской либеральной интеллигенции, оказавшейся в большинстве своем в эмиграции, то ее отношение к Розанову заметно смягчилось. После революции выглядевшие прежде кощунственными выступления Розанова на политические темы предстали во многом как пророческие.

Самые яркие работы о Розанове появились уже не в России, а в эмигрантской прессе. Зинаида Гиппиус, которая многие годы враждовала с Розановым, не могла, конечно, стать полностью беспристрастной. Но она в своем очерке «Задумчивый странник» предельно сгладила разделявшие их с Розановым огромные идейные расхождения и, надо отдать ей должное, прекрасно воссоздала психологический портрет этой многосложной, трудной для истолкования личности. Не менее блистательно справился с этой трудной задачей и А. М. Ремизов в своей полухудожественной книге «Кукха. Розановы письма». В свойственном ему утонченно-причудливом стиле он сообщает множество интереснейших фактических сведений о Розанове, в том числе и интимного свойства, используя свою переписку с философом. Ремизов подробно останавливается на малоизвестных сторонах жизни создателя

«фаллической» философии. И несмотря на шутливый тон и мастерскую подачу рискованного материала, ясно, что «эротические опыты» Розанова не всегда были невинными и что в своем почти болезненном смаковании сексуальной темы он вел себя как типичный представитель «декадентской» литературно-художественной элиты Петербурга «серебряного века». Представляет значительный интерес и небольшой очерк Ремизова «Встреча» в созданном им своеобразном «поминальном» жанре обращения к давно ушедшим из жизни современникам.

В предреволюционные годы религиозная философия находилась в процессе столь бурного развития, что до серьезных обзорных работ еще просто не дошло дело. Но Н. Н. Русов, например, рассказывает, с каким энтузиазмом отнесся Розанов к идее создания словаря русских мыслителей. Эту идею тогда осуществить не удалось. Время подведения итогов наступило позже. Работы эмигрантских религиозных мыслителей прот. Г. Флоровского, прот. В. Зеньковского, Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева восполнили этот существенный пробел, показав огромное богатство отечественной философии, само существование которой даже В. С. Соловьевым еще недавно ставилось под сомнение. Во всех этих очерках истории русской мысли Розанову отводится видное место, хотя он обычно рассматривается только как выразитель религии пола. Не удивительно поэтому, что отзыв о нем строгого православного богослова о. Георгия Флоровского носит резко отрицательный характер. Совершенно не останавливаясь на достоинствах Розанова, словно их и не существовало, Флоровский, тем не менее, пользуется выразительными цитатами из его сочинений для характеристики других мыслителей.

Более справедливой и разносторонней является оценка прот. В. Зеньковского, который, не проходя мимо недостатков розановской философии, верно подмечает ее космологические элементы и внутреннюю близость к идеям софиологов.

В целом о Розанове в эмиграции было написано немало. Интересные суждения о нем содержатся в статьях Л. И. Шестова, К. В. Мочульского, Г. П. Федотова, В. Н. Ильина. Однако многие статьи носят уже поверхностный, ознакомительный характер — новое поколение эмиграции уже не было так близко знакомо с этим оригинальнейшим мыслителем и писателем, как его современники. Среди эмигрантов младшего поколения самые значительные работы о Розанове принадлежат Ю. Иваску. Плоды деятельности этого крупнейшего на Западе специалиста по творчеству Розанова могут по достоинству быть оценены в России только теперь, когда стали общедоступными эмигрант-

ские издания и, в частности, парижский «Вестник русского христианского движения» и нью-йоркский «Новый журнал», где особенно много печатался Иваск.

В конце 1920-х годов сочинения Розанова были переведены на основные европейские языки. Связующим звеном в приобщении Запада к русской культуре были работы эмигрантских исследователей и критиков на иностранных языках. Что касается Розанова, то это прежде всего вышедшая на английском языке замечательная «История русской литературы» Д. П. Святополк-Мирского, который считал Розанова самым большим русским писателем XX века, книга В. С. Познера «Панорама русской литературы», написанная по-французски, статьи в парижской периодике Б. Ф. Шлецера и др. Первым из больших западных писателей на Розанова обратил внимание английский романист Д. Г. Лоуренс, «фаллические» мотивы в произведениях которого перекликаются с «сексуальным пантеизмом» русского мыслителя. Чуть позже начали появляться исследования западных литераторов и историков философии, посвященные Розанову. Среди них заметно выделяется глубиной освоения материала и количеством публикаций западногерманский исследователь Г. Штаммлер.

Книга эмигранта «третьей волны» А. Д. Синявского, вышедшая в 1982 году и содержащая ряд тонких стилистических наблюдений и интересных обобщений, представляет взгляд на Розанова уже того современного русского поколения, которое сейчас заново открывает этого мыслителя и писателя. После долгого перерыва книги Розанова снова пришли к русскому читателю. И что характерно: за это время насильственного забвения авторитет Розанова даже вырос — сегодня он один из самых влиятельных и читаемых отечественных религиозных философов. Наше время отмечено не только большим количеством изданий сочинений самого Розанова, но и проявлением растущего исследовательского интереса к еще во многом неизученному творческому наследию философа. Последние годы у специалистов в основном на изучение огромной дореволюционной литературы, на освоение работ, появившихся в эмиграции, где изучение Розанова не прерывалось, на публикацию малоизвестных или не издававшихся прежде сочинений Розанова. Обнаружилось немало и отечественных неопубликованных материалов, имеющих отношение к Розанову. Так, в «Дневниках» Пришвина сохранилось большое количество размышлений о философе, которые дают, быть может, самую глубокую и верную оценку его творчества. С помощью архивов расширяется и круг лиц,

писавших о Розанове: здесь имена Д. С. Дарского, С. П. Каблукова, С. И. Фуделя, С. Н. Дурылина, А. А. Золотарева... В биографии Розанова остаются еще «белые пятна» — например, все ли бесценные короба «опавших листьев», переданные в опасное время на хранение искусствоведу А. А. Сидорову, попали в известные розановские архивы?..

Думается, пришла пора создания полной, научно выверенной биографии Розанова и обобщающих, фундаментальных исследований его огромного творческого наследия. Хотелось бы надеяться, что наша антология, в которой собраны основные критические материалы прошлого, поможет ускорить этот процесс освоения творчества одного из самых оригинальных русских религиозных мыслителей и писателей.

